

ПРОЗА
Роман



Есенин

СЕРГЕЙ
ЕСЕНИН

ИЗДАНИЕ

Проза //Вагриус, Москва, 2000

ISBN: 5-264-00302-5

FB2: Ego <ego1978@mail.ru >, 2006-02-19, version 1.0

UUID: EGO-52BA4CFD-A59F-4396-9225-DE0C599F94C6

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Сергей Александрович Есенин

Яр

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0005
ГЛАВА ПЕРВАЯ	0005
ГЛАВА ВТОРАЯ	0016
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	0028
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	0040
ГЛАВА ПЯТАЯ	0053
ГЛАВА ШЕСТАЯ	0066
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0077
ГЛАВА ПЕРВАЯ	0077
ГЛАВА ВТОРАЯ	0087
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	0098
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	0108
ГЛАВА ПЯТАЯ	0117
СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ РЯЗАНСКИХ НАРЕЧИЙ .	0136

**Сергей Александрович
Есенин**

Яр

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПО оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почувствовала добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переключик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканием вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов злоеце сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

— Волки, — качнулась высокая тень в подлунье.

— Да, — с шумом кашлянули притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.

На пиленном столе в граненом графине шипела сивуха.

Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.

— Кабы не лес крали, — ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверь, нахлобучил лосиную шапку.

В запотевшие щеки дунуло ветром.

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.

— Кто едет? — процедил его охрипший голос.

— Овсянники, — кратко ответили за возами.

— То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег бородастый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.

— В чапыжнике, — глухо крякнул он, дого-

няя сивого мерина.

Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

— Идут, — позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

— Эй, Фанас, — дернул его Филипп за казинетовую поддевку. — Волки пришли на свадьбу.

— Никакой свадьбы не будет, — забурукал Ваньчок. — Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехнувшись, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

— Волки, говорю на яру.

— Ась? — заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке.

Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.

— Чукан, Чукан! — кликнул он свернувшу-

юся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолоке нацепник. Собака, зачувяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее в проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хряснули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

Кдохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в ча-

щу.

Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого козуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белой пылью, валялся черно-рыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил», — мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчался ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнул-

ся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки», — заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

— Откулева?

— С Чухлинки.

— Далеконько забрел.

— Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазами.

— Я ведь гнал-то.

— Ты?

— Я...

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.

— Коли гнал, поделимся.

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

— Скидывай кожух-то?

— Я хотел тебе сказать — не замай.

— А что?

— Тут недалеко моя сторожка. Я волков только тудылича бил.

Незнакомец весело закачал головою.

— Так ты, значит, беги за салазками.

— Сейчас сбегаю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.

— А как тебя зовут-то?

— Карев, — тихо ответил, запихивая за пояс нож.

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

— Блюешь?..

— Брр.. — задрогал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. — Похмели меня...

— Вставай... проветришься...

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.

Ваньчок барахтался и, прислонясь к прилолке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.

Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.

— Медведя убили...

— Самдели?

— Без смеха.

Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.

— Ты идешь?

— Иду...

— И я пойду.

Подковылял к полатам и вытащил свою

шубу.

— Пойдем... подсобишь.

Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутылка.

— Там выпьем.

Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сучилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С косяжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.

С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.

Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатила, обеленная в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показали Ваньчок и Филипп.

— Ух какой! — протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за

куст. — Ну и лопатки!

— Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, — заговорил Филипп, — да угости прищляка тепленьким.

— А разве есть?

— Есть.

Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.

— Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тязем.

Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.

— Волков я тоже думаю взвалить.

— А где они?

— Недалече.

В протычинах звенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

— Пугаются, — крякнул Филипп и скинул ношу на салазки.

Крученный тяз повернулся концом под грядку.

— Эй, вставай, — крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

— Не встану, — кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморозью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли подцепки, и полость заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпавшийся снег и колот растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружок.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

— Чи-их! — фыркнуло около печки, и с ко-

собокой скамьи полетела куча пыли.

— К твоей милости, — низко свесился дружко.

— Зубок привез?

— Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

— Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

— Расколешь! — заботливо поддерживая доньшко, крикнул работник.

— Небось, — выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

— Смачная! — лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу: — Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.

— На колымагу! — замахал рукою дружко. — Выходит сейчас.

— На колымагу так на колымагу, — кряк-

нул дьякон и, подбирая засушенный подрясник, повернул обратно.

— Есть, — щелкнул дьячок под салазки.

— Опосля, опосля, — зашептал дружок.

— Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обгрызанным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

— Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорищил клювом.

— Ишь ты какой сурьезный, — говорил шепелявя дьякон, — в засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.

Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.

— Ты больно широко раздвинулся, — заметил он ему.

Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил

за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»

— Эй, матушка! — крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол. — Н-но, дьявол! — рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.

— А ты, пожалуй, нарочно уселся так, — обернулся поп опять к дьякону, — грязь-то вся мне в лицо норовит.

— Это, батюшка, бог шельму карает, — огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

— Тпру, тпру! — кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.

Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.

— Не тпрукай, дурак, когда лошади встали, — искоса поглядел на растерявшегося

дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста — с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с придаными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:

— Пей, гусь, да пути не мочи.

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился — как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.

Из калитки церковной ограды вышел сторож, и отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около наля краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налесток.

Не в охоту Косте было жениться, да не хо-

телось огорчать отца.

По селу давненько шушукали, что он при-
сватался к вдове-соседке.

Слухи огорчали мать, а обозленный отец
называл его ерником.

— Жениться — перемениться, — говорил
Анисиму уважительный кум. — Я сам смоло-
ду олахарь был.

Молодайка оказалась приглядная; после
загула свекровь показала ей все свое имуще-
ство и отдала сарайные ключи.

Костя как-то мало смотрел на жену. Он
только узнал, что ходившие о невесте слухи
оправдались.

До замужества Анна спуталась со своим
работником.

Сперва в утайку заговаривали, что она хо-
дит к нему на сеновал, а потом говор пошел
чуть не открыто.

Костя ничего не сказал жене. Не захоте-
лось опечалить мать и укорить отца, да и по-
том ему самое Анну сделалось жалко. Слабая
такая, в одной сорочке стояла она перед ним.
На длинные ресницы падали густые каштано-
вые волосы, а в голубых глазах светилась за-

таенная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко открывала ему дверь.

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал ночами, и даже иногда сама посылала.

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.

На рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слу-

ху.

Анна с батраком ходила в ригу, и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.

После хрестца он вынимал баночку и, завернув наосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.

— Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолодим говорила она и, закинув за подмышки зарукавник, развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на

базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...

Вечером на масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались припаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к куму в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ладонями ей глаза.

Анна обернулась и отвела руки.

— Пойдем, — покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; те-

перь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

— Ничего, Степан, не бойся, — подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок, — ты парень хороший...

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

— Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь — я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пыталась, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя,

только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На прощенный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

— Ничего, — говорил он спокойно и ласково. — Завтра к вечеру все как рукой снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником.

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с мате-

рью.

Анна присела с краю.

— Благословите меня, — сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо.

Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

— К страстной вертайся, — сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Перекрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.

Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

— Ну, прощай, Анна! — проговорил тихо и коротко. — Не обижай стариков. — Немного задумался и гладил ее щеку. — Совсем я...

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

— Костя! — гаркнула она. — Вернись!

— Ись... — ответило в стихшем овраге эхо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Очухайся! — кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу.

Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, си-воухий кот.

— Снегом его, — тихо сказал Карев.

— И то снегом...

Филипп сторстал путровый окоренок и, по-мыв над рукомойником, принес снегу.

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, про-питанное солнцем, вывело синие жилы. Кареv разделся и начал натирать. Голова Ваньч-ка, шлепая губами, отвисла и каталась по по-лу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

— Пи-ить...

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

— С перепою, — тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.

Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударя ладонью по доньшку, выбил пробку.

— Пей, — поднес он стакан Кареву. — Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить, — почесался Филипп и вышел в теплушку.

— Липа? Лип?.. — загукал его сиповатый голос. — Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.

— Убью, — усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

— Не боюсь, — тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.

Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда мо-

лишься богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

— Тетенька ушла, — сказал он ей, как они пришли из церкви. — Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

— Отчего он не тает? — спрашивала Чука-на и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело каталась около ее ног и ли-зала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп за-пряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уез-жала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

— Лучше я повешусь на ветках березы, —

чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаясь, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого.

Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

— Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

— А я возьму тебя и съем, — шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давался искаться.

— Пусти ты, — отпихивал он ее руки.

— Ложись, ложись, — тянула она его к себе. — Я расскажу тебе сказку.

— Ты знаешь про Аленушку и про брат-

ца-козленочка Иванушку? — пришлепывая губами, выговаривал Юшка. — Расскажи мне ее... мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

— Готов, — сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

— Славная штука, — ухмыльнулся Филипп, — рублев двести смоем... Чтой-то я тебя, братец, не знаю, — обернулся он к Кареву: — Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

— Я пришляк, у просфирни проживаю.

— Пономарь, что ль, какой?

— Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

— Зорит... — поднял блюдце Карев. — Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

— Ишь наклюкался, — рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину хала-

том. — Гусь жареный, тоже свататься приехал!

— Ох, — застонал Ваньчок и откинул полу.

— Кто там? — отворил дверь Филипп.

— Свои, — забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

— Есть дичь-то? — затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

— Есть.

— А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

— Ты, Кузьмич, отродясь такого не видел; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светилась гасницей.

— Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

— Ну, так, значит, Филюшка, двести с четвертью да за волков четверть.

— Коли не обманываешь — ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бу-мажками кошелек.

— Получай, — слюнявя пальцы, отсчитывал он.

— Счастлив, брат, ты, — ткнул в бок Филипп Карева, — и скупщик, как нарочито, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она кротко потупив голову, молчала.

— Так ты помоги, — скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

— Ишь какой здоровый! — смеялись скупщики.

— Мерина своротит, — щелкнул кушаком Филипп. — Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

— Он убил-то?

— Он...

На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.

— Н-но! — крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, засемно поплелись шагом.

Умытое снегом утро засмеялось окровав-

ленным солнцем в окно.

Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.

— Не надуешь проклятого.

— Хитрый мужик, — подхватили скупщики и задергали башлыками.

— Дели, — выбросил Филипп на стол деньги.

— Сам дели.

— Ну, не ломайся.

Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.

— Кто это? — мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.

— Всю память заспал, — ухмыльнулся Филипп.

— Нет, самдели?

— Забыл, каналья?

— Эй, дядя, — поднялся Карев, — аль и впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?

— Смеетесь, — поднес к губам корец.

— А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.

К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился

за голову.

— Тебе полтора ста, а мне сто, — встал Карев и протянул руку.

— Как же так?

— Так... я один... А ты с сестрой, вишь.

Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.

— Ай и скупщики были?..

— Были.

— Вон оно что...

Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.

— Погоди, — останавливал Филипп, — выспишься.

— Нет, поторапливаться надо.

В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.

На крыльцо выбегла Лимпиада.

— Заходи! — крикнула она, махая платком.

— Ладно.

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная моро-

ка и, как рукав, обвивала одинокие разбросанные липы.

— Садись, касатик, подвезу! — крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

— И то думаю.

— Знамо, лучше... Ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

— Что ж пустой-то?

— Продал.

— Ишь бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.

— Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

— Раменки! — крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

— Подбери, бабушка! — крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забили крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала накрытые соломой ноги под поддевку; ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

— Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

— Экай ты какой! — крикнула укоризненно баба. — Погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

— Закуривай, — оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхая тесом, карабкался застрявший обоз.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были защиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатигодовалый па-

рень, сделался мельником и скоро прослыл по округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотые деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

— Фюи, фюи, — шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

— Ух, ух, — лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

— Придут, — говорил он, глядя мухортую собаку. — Где-нибудь и нас так поджидают.

Так он прожил десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом году хозяйничанья Афонька по-

ехал к сестре взять к себе на прокорм шальга-на Кузьку.

Мать Кузьки с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза — шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

— Мотри, богу молись, — наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

— А далеко будем ехать-то? — спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенками, забрыкал по соломе.

— Две ночи спать будешь, — ухмыльнулся он, — а на половину третьей приедем...

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

— Заблудишь, — ворчал Афонька, — не броди далеко.

— Я , дяденька , не боюсь теперь, — смыш-

лено качал желтой курчавой головой Кузька . — Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

— Ишь какой догадливый, — смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росой.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок... Облаком за клубился дым.

— Где он, где он? — крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...

— Вот он, вот он! — кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

— Лови, лови! — кричал Афонька. — Эх ты, сопляк, — протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам. — Гони в кусты! — кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиной.

— погоди, — сказал Афонька, — я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

«Буль, буль!» — забулькало над головами лилий.

— Кши, дьявол! — гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.

— Не нарвись! — крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, сходясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

— Тех, тех, тех, — щелкал в березняке соловей.

— Тинь, тинь, тинь, — откликались ему желтоперые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело захало и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой

мшанину выбежал лось, и ветвистые рога за-трепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось как подкошенный упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.

«Убил!» — мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным страхом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом; на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельнице.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали — он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкой около жернова.

Крепко задумался он — не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбежал на дорогу, падал наземь, припадал ухом,

но слышал только, как вздрагивала на вздымающемся болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине церковь.

Он обвязался, как прутом, круг этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил лес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

— Здорово, дедунь! — крикнул он, входя за

порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи. Лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая борода клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

— Здорово, — кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу, — нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

— Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим...

Ощипал, выпотрошил и принес беремья дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему вернется.

— Останься, — грустно поникнул он головою. — Один я...

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал построить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальные зарыл на еланке под старый вяз.

— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем, — толковал он с Каревым. — всю молодость свою думал поставить церковь. Трать, — вынул он пачку бумаг, — ты как Кузька стал мне... словно век тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на завалинке; Афонюшка, за-хлебываясь, рассказывал лесные сказки.

— Не гляди, что мы ковылем пахнем, — грустно усмехнулся он, — мы всю жисть, как вино тянули...

— Что ж, захмелел?..

— Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью... лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик

и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглotala.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолоке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

— Чтоб тебе пусто взяло! — выругался сотский, спуская осторожно мешок. — Не мудре-

но и брыкнуться...

— Крута лестница-то, крута... — зашамкал, упыхавшись, Афонюшка. — Обвалилась на-медни плоская-то, новую заказал.

Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.

— Сыпь! — крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.

Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.

Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.

— Хруп, — обратился он к Кареву, — спусти еще.

На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дышал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.

«Людям обрадовался», — подумал он с нежной радостью и подпустил помолу.

Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка.

— Что такую рваную повесили! — крикнула она со смехом, кидая под жернов фуражку,

и задрожала...

— Фуражка, фуражка! — застонал Афонюшка и сунулся под жернов.

Громыхающий поворот приподнял обмученный комок и отбросил на ларь.

На полу рассыпались красные ягоды.

Думы смялись... Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуйя, аллилуйя...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем.

Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент.

Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника.

Рядом валялось ружье и с чесаной паклей кожаная пороховница.

Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки и шомонила вода.

Быстро поднялся, вскинул ружье и пошagal к дому. За спиной болтался брусниковый кузов.

Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихо-

радочно пересчитав, кинулся обрывать лошадь.

Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами.

Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь.

С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и замахала зарукавником.

Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась; спрыгнул и поздоровался.

— Дома?

— Тут.

Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну.

— Ставь! — крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар.

Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне.

С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки.

— Хватит! — крикнул, улыбаясь Карев и

пошел к крыльцу.

— Вот что, Филюшка, — сказал он, расстегивая пиджак, — Афоня до смерти церковь хотел строить. Дал он мне три тысячи. А ведь с ними каши не сваришь.

Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами.

— Что ж надумал? — обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы.

— Школу на Раменках выстроить...

— Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чухлинки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что...

— Так и я думаю... сказать обществу, чтоб выгоняло подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед.

От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня.

Карев глядел молча на Лимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки.

Закрасневшись, она робко вскидывала

свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали.

Она сама не знала, почему не могла смотреть на прищляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась.

Но бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям.

Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.

Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.

Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.

Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.

В кустах завозились, он поднял голову и стал вслушиваться.

В прозрачной тишине ему ясно послышалось крадущиеся шаги и сдавленное дыханье.

— Кто там? — крикнул он, откидывая кошель.

— Я... — тихо и кратко было ответом.

— Кто ты?

— Я...

— Я не знаю, кто ты, — смеясь, зашевелил он кудрявые волосы. — А если пришел зачем, так подходи ближе.

Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.

— Чего ж ты таишься?

К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.

— Так, — брызнул он сквозь зубы слюну.

Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.

— Ты бел, как мельник, — сказал отрывисто парень. — Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь... Ты сегодня не ел калину?

Карев качнул головою.

— Я не собирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.

— Что ж ты здесь делаешь? — обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.

— Дорогу караулю...

Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.

— Зря все это...

Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунию ступеньку.

— Как тебя величают-то?

— Аксютка.

Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.

— Правда, Аксютка... Когда крестили, называли Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.

— Чай хочешь пить? — поднялся Карев.

— Не отказываюсь... Я так и норовил к тебе ночевать.

— Что ж, у меня места хватит... Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено то свежее, вчера самый зеленый побег скошил... она, вешняя отава-то, мягче будет и съедобней... Расставь-ка таганы, — указал он на связанные по верхушке три кола.

Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махаю-

ций полотенец.

Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег.

— Не воруй, Аксютка, — сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма. — Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи... поймают тебя, изобьют... зачакнешь, опаршивеет все, а не то и совсем укокошат.

Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался.

— Ладно тебе жалеть-то, — махнул он рукой. — Либо пан, либо пропал!

Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.

— Ох, — повернулся Аксютка, — хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною.

— Ну-ка...

Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.

— Пошел я по весне с богомолками в лавру Печорскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.

С богомольцами, думаю, лучше промыш-

лять. Где уснет, можно обшарить, а то и отды-
хать сядешь, не дреми.

В корогоде с нами старушка шла. Двохлая
такая старушонка, всю дорогу перхала.

Прослышал я, что она деньжонки с собой
несет, ну и стал присватываться к ней.

С ней шла годов восемнадцати али мень-
ше внучка.

Я и так к девке, и этак, — отвиливает, чер-
товка. Долго бился, половину дороги почти, и
все зря.

Потихонечку стала она отставать от бабки,
стал я ей речи скромные сыпать, а она все
бурдовым платком закрывалась.

Разомлела моя краля. Подставила мне свои
сахарные губы, обвила меня косником кашта-
новым, так и прилипла на шею.

Ну, думаю, теперь с бабушкой надо проехать
похитрей; да чтоб того... незаметно было.

Идем мы, костылями звеним, воркуем, как
голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки но-
ровлю.

Смотри, мол, карга, какой я путевый; вну-
ка-то твоя как исповедуется со мной.

Стала и бабушка со мной про божеское зате-

вать, а я начал ей житие преподобных рассказывать. Помню, как рассказал про Алексея божьего человека, инда захныкала.

Покоробило исперва меня, да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло.

Пришли все гуртом на постоялый двор, я и говорю бабке... что, мол, бабушка, вшей-то набирать в людской, давай снимем каморочку; я заплачу... Двохлая такая была старушонка, все время перхала.

Полеглись мы кой-как на полу; я в углу, а они посередке.

Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях.

Ощупал и тихонечко к изголовью подполз. Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил деньги-то...

А она, старая, хотела повернуться, да почувяла мою руку и крикнула.

Спугался я, в горле словно жженный березовый сок прокатился.

Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне.

Хвать старуху за горло и туловищем налег...

Под пальцами словно морковь переломилась.

Сгреб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит... Куда, думаю, бежать...

Вперед пойду — по спросу урядники догадуются; назад — люди заметят... Повернул я налево и набрел через два дня на село.

Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о щипульник; ночью все старуха бластилась и слышалось, как эта морковь переломилась...

Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана...

Вошел, снял картуз и уселся за столик.

Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко «жулика». «Из своих», — подумал я и лукаво подмигнул.

— А, Иван Яклич! — поднялся он. — Какими судьбами?..

— Такими судьбами, — говорю. — Иду богу молиться.

Сели мы с ним, зашушукались.

— Дельце, — говорит, — у меня тут есть. Вдвоем, как пить дадим, обрабатываем. «Была

бы только ноченька сегодня потемней».

Ехидно засмеялся, оцурив гнилые, как су-
ровикой обмазанные зубы.

Сидим, пьем чай, глядим — колымага
подъехала, из которой вылез в синей рубахе
мужик и, привязав лошадь, поздоровался с
хозяйкой.

Долго сидели мы, потом мой хлюст морг-
нул мне, и мы, расплатившись, вышли.

— К яру пойдем, — говорит он мне. — Слы-
шал я — ночевать у стогов будет.

Осторожно мы добрались до стогов и уку-
тались в промежках...

Слышим — колеса застучали, зашлепали
копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать.

Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели
гужи.

Ночь и впрямь, как в песне, вышла тем-
ная-претемная.

Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет. «Не
спит все», — думаю.

Тут я почуял, как по щеке моей проползла
рука и, ущипнув, потянула за собой. Подполз-
ли к оглоблям; он спал за задком на веретье.

Я видел, как хлюст вынул из кармана чек-

мень и размахнулся...

Но тут я увидел... я почувствовал, как шею мою сдавил аркан.

Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче.

— Да, — протянул Аксютка, — как вспомнишь, кровь приливает к жилам.

Карев подкладывал уже под скипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксюткину трубку.

— Что же дальше-то было?

Аксютка вынул платок и отмахнул пискливого комара.

— Ну и дока! — прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник, и стал грызть на моих руках веревку.

Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног.

Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать...

Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась. Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и откатившись, стал развязывать ноги.

Покуль я развязывал, он ему штук пять во-
гнал.

Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный... к нему... Только он хотел вонзить тычинку, — я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко...

Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю да так... и богу душу отдал.

Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевало грудь сердце.

Лунь лизала траву, дробно щелкали соло-
вьи, и ухал филин.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей.

Сняли портки и, свернув из комом, бросили в щипульник. На плече Карева висел длинный мешок. Вьюркие щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени.

— Кто-то идет, — оглянулся Аксютка, — кажись, баба, — и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками.

Карев увидел, как по черной балке дороги с осыпающимися пестиками черемухи шла Лимпиада.

Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу.

— Какая ты сегодня нарядная...

— А ты какой ненарядный, — рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы.

Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почувал, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показывать рыбу.

— Вот и к разу попала. Растагарю костер и ухи наварю...

— Во-во! — замахал весело ведром Карев и, скатывая бредень, положил конец на плечо, а другой подхватил Аксютка.

— Ведь он ворища, — указала пальцем на него. — Ты небось думаешь, какой прохожий?..

— Нет, — улыбнулся Карев, — я знаю.

Аксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав.

— Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол.

— К кому ж мы пойдем?

— Как к кому?.. Там у меня тетка...

— Хорошо, — согласился он, — только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.

Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.

С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусеницы.

— Ну, теперь садись с нами к костру, — шумнул Карев. — Да выбирай зараня большую ложку.

Лимпиада весело хохотала и указывала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.

— Аксютка, — крикнула, встряхивая раскосмаченную косу, — иди, поищу!

Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.

Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.

Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.

Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.

В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.

Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.

Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.

«Подружки голубушки, — выговаривал, как камышовая дудка, гребешок, — ложитесь спать, а мне молодешеньке, дружка поджидать.»

— Будя, — махнула старуха, — слезу то-чишь.

Царек вытер рукавом губы и засвистел плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.

— В расходку! — кричал в новой рубаше Филипп. — Ходи веселей, а то я пойду!

Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.

На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.

С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками.

В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.

— Ух, леший тебя принес! — засуетился обидчиво Филипп. — Весь пляс рассыпал.

Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.

— Ты не ругайся, — сдавил он мехи, — а то я играть не буду.

— Ты чей же будешь, касатик? — подвинулась к Кареву старуха.

— С мельницы, — ласково обернулся он.

— Это что школу строишь?..

— Самый.

— Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь... Ведь ты нас на воздуси кинаешь — звезды, как картошку, собирать.

Карев перебил и, отмахиваясь руками, стал отказываться:

— Я тут, как кирпич, толку... Деньги-то ведь не мои.

— Зрящее, зрящее, — зашамкала прыгающим подбородком. — Ведь тебе оставил-то он...

Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.

За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.

Аксютка запер хату и пошел в Раменки.

Ему хотелось напиться пьяным и побуйнить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.

Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.

— Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка заре-

зал! — крикнула она и пнула в лицо ногой.

Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем; каждый думал — как вырастет, пойдет к нему в шайку.

— Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые, — говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка, — потому знает, что я крепче всех люблю его.

— А я кашеваром буду, — тянул однотонно Федька, — Ермаком сделаюсь и Сибирь завуюю.

— Сибирь, — передразнивал Микитка. — А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.

— Ты все сычишься наперед, — обидчиво дернул губами Федька. — Твоя вся родня такая... твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок что хошь делает.

— Поди-ка съешь кулака, — волновался Микитка. — А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. Это вы губами шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете... накось...

Аксютка вошел в избу сотского и попросил

бабку налить ему воронка.

Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.

— Где ж Аким-то? — спросил, оглядывая пустую лежанку.

— У свата.

— Обсусоливает все, — смеясь, мотнул головой.

— Что ж делать, касатик, скучно ему. Вдовец ведь...

Надел фуражку и покачнулся от ударившего в голову хмеля.

— Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драчонку, да все вышли. Оладьями, хошь, угощу?

Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду. Аксютка выглядел, какие порумяней, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу.

У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бежал за сотским и старался ударить его в голову.

Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воро-

нок, кровь.

Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа.

Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку.

— Бей живореза! — кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам.

Упал и почуял, как на грудь надавили тяжелые костяные колени.

Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежащему обухом около шеи.

Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красно-черной пеной...

— Эх, Аксютка, Аксютка, — стирал кулаком слезу старый пономарь, — подломили твою бедную головушку!.. Что ж ты стоишь, чертовка! — ругнул он глазеющую бабу. — Принесла бы воды-то... живой, чай, человек валяется.

Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами.

— Подкачнуло тебя, окаянного. Мою душу загубил и себя потерял до срока.

— То-то не надо бы горячиться, — укорял

пономарь. — Оно, вино-то, что хошь сделает.

Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь.

— На... а... мель... — дрогнул он всем телом и упал и упал навзничь.

— На мельницу, вишь, просится, — жалобно заохала бабка. — Везите его скорей...

Парень, бивший топором Аксютку, болезненно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы.

Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксютки водой.

Вода лилась с подбородка струей и, словно подоженная, брызгала на кончике ало-стью...

Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку.

Карев сидел с Лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы, и к крыльцу подъехали с Аксюткой.

Он почувал, как сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату.

— Ложись, ложись, — шептал бледный как снег...

Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину.

Аксютка встал и провел по губам рукой...

— Поди... — глухо прошептал, поманув Карева. — Хвастал я... никого не убивал, — закашлялся он. Это я так все... выдумал...

Карев прислонил к его голове мокрую тряпку.

Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня месяц.

На плесе шомонили вербы, и укромно шнырял ветерок.

— Липа! — крикнул Аксютка, хватаясь за грудь. — Сложи мне руки... помирать хочу...

Лимпиада, с красными глазами, подбежала к постели и опустилась на колени.

— Крест на меня надень... — опять глухо заговорил он. — В кармане... оторвался... Мать надела.

Судорожно всхлипывая, сунула в карман

руку и, вынув из косы алый косник, продела в ушко креста.

Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер.

За окошком кугукались совы.

Конец первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тяжба с помещиком затянулась, и на суде крестьянам отказали.

— Подкупил, — говорили они, сидя по завалинкам, — как есть подкупил. Мыслимо ли — за правду в глаза наплевали! Как бог свят, подкупил.

Ходили, оторвав от помела палку, огулом мерить. Шумели, спорили и глубокую-глубокую затаили обиду.

На беду появился падеж на скотину.

— Сибирка, — говорили бабы. — Все коровы передохнут.

Стадо пригнали с луга домой; от ящура снадобьем аптешника коровам мазали языки и горла.

Молчаливая боль застудила звенящим льдом на сердцах всех крестьян раны.

Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Поп, не дай, четвертную ломит.

— Ты, батюшка, крест с нас сымаешь! —

кричали мужики. — Мы будем жаловаться ирхирею.

— Хоть к митрополиту ступайте, — ругался поп. — Задаром я вам слоняться не буду.

Шли с открытыми головами к церковному старосте и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньем и хоругвями обойти село.

Староста вышел на крыльцо и, позвякивая ключами, заорал на все горло:

— Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете — вас много, так с вами и сладу нет... Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!

— Ладно, ребята, — с кроткой покорностью сказал дед Иен, — мы и без них обойдемся.

Жила на краю села стогодовалая Параня, ходила, опираясь на костыль, и волочила расшибленную параличом ногу, и видела, знала она порядки дедов своих, знала — обидели кровно крестьян, но молчала и сказать не могла, немая была старуха. Знала она, где находилась копия с бумаг.

Лежала тайна в груди ее, колотила стенки дряблого заоченелого тела, но, не находя себе выхода, замирала.

Проиграли мужики на суде Пасик, заби-

лась старуха головой о стенку и с пеной у рта отдала богу душу.

Разговорившись после похорон Парани о старине, некоторые вспомнили, что при падеже на скотину нужно опахивать село.

Вечером на сходе об опахиванье сказали во всеуслышанье и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна.

При опахиванье, по словам стариков, первый встречный и глянувший — колдун, который и наслал болезнь на скотину.

Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть.

В полночь старостина жена позвала дочь и собрала одиннадцать девок.

Девки вытащили у кого-то с погребка соху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в соху.

С пением и заговорами все разделись нагло, и только жена старосты была укутана и увязана мешками.

Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали:

— Видишь?

— Нет, — глухо отвечала она.

После обхода с сохой на селе болезнь притихла, и все понемногу утомонились.

Но однажды утром в село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик.

— Только хотел орешину сорвать, — говорил он, — как подокрался и цапнул железной тростью.

Мужики, сбежавшись, заволновались.

— Кровь, подлец, нашу пьет! — кричали они, выдергивая колья.

На кулижку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу.

— Житья нет! — кричал он. — Так теперь и терпеть все!..

Собравшись ватагой с кольями, побежали на Пасик. Брань и ругань царапали притихший овраг Пасика.

Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам.

— Моя собственность! — грозил он кулаком. — Права не имеете входить; и судом признано — моя!..

— Бей его! — крикнул дед Иен. — Ишь, мошенник, как клоп нажрался нашего сока! Па-

ли, ребята его!

Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок ему.

Взмахнул руками и как подкошенный упал в овраг.

— Бегим, бегим! — шумели мужики. — Кабы не увидали!

По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками.

На дне оврага, в осыпанной глине, лежал с мертвенными совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью.

Филипп взял посох и пошел на Чухлинку поговорить со старостой. Он выкатился на бугор и стал спускаться к леску.

Вдруг до него допрянул рассыпающийся топот и сдавленные голоса.

«Лес воруют», — подумал он и побежал что силы вдогон.

Топот смолк, и голоса проглотил шелест отточенных хвой.

Он побежал дальше и удивился, что ни порубки, ни людей не видно.

— Зря испугались, — пробасил неожидан-

но кто-то за его спиной. — Выходи, ребята, свой человек.

Из кустов вышли с кольями мужики, и сзади, с разорванным рукавом рубахи, плелся дед Иен.

— Молчи, не гуторь! — подошли все, окружив его. — Помещика укололи. В овраге лежит.

Филипп пожал плечами, и по спине его закололи булавки.

— Как же теперь? — глухо открыл он губы и затеребил пальцами бороду.

— Так теперь, — отозвался худощавый старик, похожий на Ивана Богослова. — Не гуторить, и все... Станут приставать — видом не видели.

— Следы тогда надо скрыть, — заговорил Филипп. — Вместе итить не гоже. Кто-нибудь идите по мельниковой дороге, с Афонина перекрестка, а кто — стежками, и своим показываться нельзя. Выдадут жены работников.

— Знамо, лучше разбрестся, — зашушукали голоса. — Теперь небось спохватились.

.....
.....

К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав, после тяжбы с крестьянами он как-то скоро завязал дружбу с полицией и приглашал то исправника, то пристава в гости.

Конюх стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади.

Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял, заранее приготовившись, шапку и стал ждать.

Когда пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но так, как бы не замечая, отвернулся в сторону.

— Где барин? — спросил он выбежавшую кухарку, расстилавшую ему ковер.

— В Пасике, ваше благородие, — ответила она. — Послать или сами пойдете?

— Сам схожу.

— Борис Петрович! — крикнул он, выпятив живот и погромыхая саблей.

По оврагу прокатилось эхо, но ответа не последовало.

В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов, он протянул руку и, очистив от

листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб.

— Борис Петрович! — крикнул он опять и стал спускаться в овраг.

Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом.

В овраге на осыпанной глине лежал Борис Петрович.

Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая труп.

Рядом валялся со взведенным курком пистолет.

— Горячий еще! — крикнул он вслух. — Мужики проклятые, не кто иной, как мужичье!

— Проехали, — свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа. — Трое, кажись, проскакали. Впереди всех без картуза пристав. Теперь, ребята, беги кто куды знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй бог.

Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села.

Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому.

У окна на скамейке рядом с Лимпиадой он

увидел Карева и, поманув пальцем, подошел к нему.

— Беда, Костя! — сказал он. — Могила живая.

— Что такое?

— Помещика убили.

Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот.

— Пристав поехал.

— Пристав, — протянул Карев и бросился бежать на Чухлинку.

Лимпиада почувяла, как упало ее сердце; она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон.

— Куда, куда ты? — замахал переломленным посохом Филипп и, приставив к глазам от солнечного блеска руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Лимпиаду.

— Вот сумасшедшие-то! — ворчал он, сердито громыхая щеколдой. — Видно, нарваться хотят.

Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.

— Живо сход, живо! — закричал он. — Ах вы, оглоеды, проклятые убийцы, разбойники!

Десятские бегом пустились стучать под окна.

— А... пришли! — кричал он на собравшуюся сходку. — Пришли, живодеды ползучие!.. Живо сознавайтесь, кто убил барина? В Сибирь вас всех сгоню, в остроге сгною, сукиных детей! Сознавайтесь!

Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.

— А... не сознаетесь, нехристи! — скрипел он зубами. — Пасик у вас отняли... Пиши протокол на всех! — крикнул он уряднику. — Завтра же пришлю казаков... Я вам покажу! — тряс он кулаком в воздухе.

Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.

— Понюхай, моя родная, — произнес он вслух. — Может, боле не придется.

— Ты чего так шумишь-то? — подошел он, пристально глядя на пристава. — У тебя еще матерно молоко на губах не обсохло ругаться по матушке-то. Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься. Ишь ты тоже, какой липоед!

— Тебе что надо? — гаркнул на него уряд-

ник.

— Ничего мне не надо, — усмехнулся дед. — Я говорю, что я убил его и никого со мной не было.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Не тоскуй, касаточка, — говорил Епишка Анне. — Все перемелется в муку. Пускай гуторят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходиться, некому пожалиться.

— Ох, Епишка, хорошо только речи сыпать. Ты один, зато водку пьешь. Водка-то, она все заглушает.

— Пей и ты.

— Пью, Епишка, дурман курю... Довела меня жизнь, помыкала.

В зыбке ворочался, мусоля красные кулачки, первенец.

— Ишь какой! — провел корюзлым пальцем по губам его Епишка. — Глаза так по Степкиному и мечут.

Анна вынула его на руки и стала перевивать.

— Что пучишь губки-то? — махал головой Епишка. — Есть хочешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую.

Взял со стола черствый крендель и стал разжевывать; зубы его скрипели; выплюнул в тряпочку, завязал узелок и поднес к тоненьким зацветающим губам.

— У-ю-ю, пестун какой вострый! Гляди, как схватил! Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. В канаве дядя ночевал.

Анна кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки.

— Ничего, подлец, не понимаешь, — возился на коленях Епишка, — хоть и смотришь на меня... Ты ведь еще чередом не знаешь, хочется тебе есть али нет. А уж я-то знаю... Горе у матери молоко твое пролило... Ох, ты, сосунчик мой. Так, так, раба божия Аннушка, — встал он. — Все мы люди, все человеки, а сердце-то у кого свиное, а у кого собачье. Нету в нас, как говорится, ни добра, ни совести; правда-то, сказано, в землю зарыта... У него, у младенца-то, сердца совсем нету... Вот когда вырастет большой, бог ему и даст по заслугам... Ведь я говорю не с проста ума. Жисть

меня научила, а судьбина моя подсказала.

Анна грустно смотрела на Епишку и смахивала выкатившиеся слезы.

— Он-то ведь, бедный, несмысленный... Ничего не знает, ни в чем не виноват. Аннушка бедна, Аннушка горька, — приговаривал Епишка, — сидеть тебе над царем над мертвым тридцать три года... Нескоро твой ворон воды принесет... Помнишь?

Старая, плечи вогнуты, костылем упирается, все вдаль глядит. Коротайка шубейная да платок от савана завязаны. В Киев идет мощам поклониться.

В красной косыночке просфора иерусалимская... У гроба господня склонялась.

Солнце печет, пыль щекочет, а она, знай, идет и ни на минуту не задумается, не пожалует. У куста села, сумочку развязывает... сухарики гложет с огурчиком.

— Зубов нет, — шамкает побирушке, — деснами кусаю, кровью жую...

— Телом своим причащаешься, — говорит побирушка. — Так ин лучше богу заслужишь...

Ходят морщины желтые, в ушах хрустит,

заглушает.

— Берегешь копеечку-то? — спрашивает искоса побирушка.

— Берегу — всю жисть пряла, теперь по угодникам разношу. Трудовая-то жертва дорога.

По верхушкам сосен ветерок шуршит.

— Соснуть бы не мешало, — крестится побирушка.

Приминая траву, каратайку под голову положила. Мягка она, постель травяная, кости обсосанные всякому покою рады. О Киеве думает, ризы божеские бластятся.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных...» — голос дьякона соборного в ушах звенит...

«О-ох, грешная я», — думает.

— Фюи, фюи, — гарчет плаксиво иволга. Тени облачные веки связывают.

По меже храп свистит, побирушка на сучье привалилась.

Тихо кусты качаются... Тень господня над бором ползает.

— Господи, — шепчут выцветшие губы, — помилуй меня грешную.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных», — гудит в ушах.

— Тетенька, — будит прикурнувшую побирушку, — встань, тетенька.

— А-ат? — поднимается нищенка.

— Бездомная ты, бездомная, возьми вот сумочку-то. Деньги тут. Ни сумы, ни сапог, в писании сказано... — плачет. Успокоилось сердце. Комочком легла. Глаза поволоклись морочкой.

— Фюи, фюи, — гарчет плаксиво иволга.

— Идем, — подвязывает лапти побирушка, — провожу... До Маркова доберемся, а там заночуешь.

В осиннике шаги аукают.

— Это, я думаю, ты не от сердца дала мне...

Лишние они у тебя.

Глядит вдаль, а в глазах замерла безответность.

— Что молчишь-то? — дергает ее за руку.

— Ни сумы, ни сапог, тетенька, камни с души своей скинаю.

— То-то... камни... знаем мы вас, прихожалок. Нахайте с чужой крови-то, а потом раздаете. Ишь и глаза, как озеро, пышут... Знаем

мы вас. Знаем!

— Лазарь, ты мой Лазарь, — срывается кроткий шепот. — Ничего у бога нет непутевого, — ударяет клюкой по траве. — Все для человека припас он... От всего оградил. Человек только жадничает.

— Вишь, мушки мокреть всю спили с травы. Прошли бы, оброснулись. Чай, с снохами-то неладно жила? — пытливо глядит ей в глаза побирушка.

— Нет, родная, никого не обижала.

— Врешь поди.

— Я к мощам иду, — тихо шепчет. — Что мне душу грязнить свою, непутевое говоришь. Не гневи бога, не введи во искушение, — поют на клиросе.

— То-то, вот вы такие и искушаете, — сердито машет палкой. — Святоши, а деньги кроете.

— О-ох... Устала... — опускается на траву. — Прогневаю бога ропотом. Прости ты меня окаянную.

Побирушка, зажав палку, прыгнула, как кошка.

— У-у-у... — защелкала зубами.

Зычный хряст заглушил шелест трав. Кусты задрожали.

— Отдай деньги, проклятущая...

— Фюи, фюи, — гарчет иволга.

Глаза подернулись дымкой. К горлу подползло сдавленное дыханье, под стиснутыми руками как будто скреблась мышь.

Старый Анисим прилежным покаяньем расположил к себе игумена монастырского.

— Как ты, добрый человек, надоумил мир-то покинуть? Ведь старая кровь-то на подъем, ох, как слаба.

— Так, святой отец, — говорил Анисим. — Остался один, что ж, думаю зря лежать на печи, лучше грехи замаливать. Сын, вишь, у меня утонул. Старуха не стерпела, странствовать ушла. Дома молодайка есть, пусть как хочет живет. Сказывают, будто она несчастная была, и сын-то, может, погинул с неудачи... А мне дела до этого нет, такая она все-таки добрая, слова грубого не сказала, не обидчица была.

Похоронил Степан мать, сходил к Анисиму, получил с него деньги и дома остался жить. Оставила мать припадочного братиш-

ку, зорко заставила следить.

— Нет тебе счастья и талана, — сказала она, — ползай, как червь, по земле, если бро-
сишь его.

Побоялся Степан остаться с Анной, а же-
ниться на ней, гадал, — будут люди пенять.

«Что, мол, девок тебе, что ль, не хватает,
бабу-то берешь».

Поехал он как-то в Коростово к тетке на
праздник да остался заночевать. На улице
девчата под окнами слонялись, парни в ли-
венку канавушки пиликали.

— Поди, — сказала ему тетка, — тебя дев-
ки-то зманывают.

Степан надел поддевку, заломил набе-
крень шапку, пошел к девкам.

Девки с визгом рассыпались и скрылись.

— Кто? — окликнули его парни.

— Свой.

— Нет, не свой, — заговорил кто-то. — По
ухватке видно — не свой... У нас, брат, так де-
вок не щупают. Больно хлесток...

— Невесту, что ль, выглядываешь? — спро-
сил гармонист.

— Невесту, — тихо ответил Степан.

— Так ты, брат, видно, сам знаешь... у нас положение водится... четверть водки поставь.

— Ладно, — сказал Степан, — поставлю, только не четверть, а три бутылки... Денег не хватает...

— Не хватает, не надо, — кивнул гармонист. — Мы не такие уж глоты. — Завозился на каблуках.

Степан отдал деньги ребятам и пошел к девкам.

Девки сидели на оглоблях пожарной бочки и, опершись на багор, играли песни.

Степан приглядывался, какая покрасивее, и, сильно затягивая папиросу, светил.

В середках одна все закрывалась рукавом, и он смекнул, что он ей нравится.

Зашел сзади и, потягивая к себе на колени, свалил.

Девка смеялась и, обхватив его за грудь, старалась повалить.

Закружив, начал целовать ее в щеки и отвел в сторону.

— Пусти ты, — отпихивалась она. — У, какой безотвязный... пусти!..

— Не пущу, — прижимался к ней Сте-

пан. — Хоть кричи, не пущу.

Прижал ее к плетню и силился расстегнуть коротайку.

— Ты, тетенька, меньше ста рублей не бери, — говорил он утром о приданом. — Ведь я не бобыль: две лошади, три коровы да овец сколько...

— Да чья она? — спрашивала тетка. — Куда идти-то мне?

— Черноглазая такая. Кудри на лоб выбиваются.

— А, ну теперь знаю. Ишь какую метишь, — она ведь писарева...

— Отдадут — сама говорила.

— то-то...

Она надела новую шубейку, покрыла белую тужильную по покойному мужу косынку и пошла свахой.

— Ты что, Марьяна? — спросила писариха и поманула ее ладонью.

— Посвататься, касатка, пришла, за племянника. Может, знавала Степку-то, без порток все у волости бегал махоньким...

— А, — протянула писариха. — Что ж, разве он не женат еще?

— Нет.

— Мы хотели ведь погодить, с приданным никак не собрались.

— Да мы и немного берем-то.

— Сколько?

— Да как тебе сказать, не менее сотни.

— Ладно, — кинула в заслон мочалку, — стоворено.

— А он-то, — указала она на спящего на лавке писаря, — как же?..

Писариха подняла ногу и плюнула на каблук.

— В пятках он у меня, я с ним и разговаривать не стану.

Марьяна поклонилась и, подвязавшись, пошла обратно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Откулева-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружилось, начало свертываться в большой моток.

По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов, и вдогон зашептал вихорь.

Шнырявшая в седирах осины синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь.

Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы.

Волосы трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина.

Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья.

Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозой и унести далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя.

Яр зашумел, закачался, и застонала земля.

Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке.

«Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай

подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там, у околицы, чего ждешь? — шептал ему какой-то тайный голос. — В ожиданиях только погибель. Или силы у тебя не хватает подняться и унести сюда, как вихорь?»

«Нет, все не то, — подумал он. — Это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильнее натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать».

Яр шумел...

Черная навесь брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника.

Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами.

С бородки его, как веретено, сучилась холодноватая струйка, шел босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер.

В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи.

С околицы выбежала Лимпиада и зазвенела серебряным смехом.

Она была мокрая, и с косы ее капала роса.

— Дождь фартуком собирала, — сказала она и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы.

Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхивать с мокрых штанов грязь.

— Иди, замою... Филиппа нет, — обняла его за плечи. — Тес пилит.

Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на нее. По щекам ее с черными мушками грязи покатила вода, она подбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но поскользнувшись, упала.

Поднял и со смехом понес на крыльцо.

Лимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, покрасневшись, качала ногами.

— Костя, — притиснула она его голову, — милый, не уходи. Как хорошо-то!

Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем Чукан и, оскалив зубы, ловил мотавшийся на ноге Лимпиады башмак.

К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда Иена в холодной.

— В остроге сидит, сердешный, — говорил

он. — Скоро, наверно, погонят.

— Жалко, — вздыхала Лимпиада, — хороший мужик был.

Прояснившееся небо опять заволочлось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен.

Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку.

В дверь кто-то заскребся; Лимпиада отворила и увидела кошку.

— Милая, — нежно протянула руки, — где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя.

Посадила на колени, стала гладить.

Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки.

Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладила ее руки.

— Ты убил... — покосился с пеной у рта пристав, — ты убил?..

— Я, — отозвался дед Иен. — Говорю, что я.

— Связать его! — крикнул он мужикам. — Да с понатыми в холодную отправить.

Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.

— Вяжи покрепче, Петро, — сказал он му-

жику, — а то левая рука выскочит.

— Ладно, — мотнул головой Петро, — ты больно-то не горячись, мы ведь для близиру.

Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка.

Пристав толкнул его на крыльцо холодной и ударил по голове тростью.

По щеке зазмеилась полоска крови.

— Эй, — крикнул грозно Петро, — ты что делаешь! — и, схватив замахнувшуюся трость, сломал о худощавое колено пополам.

— Ты не хрындучи! — затопал пристав. — Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!

— Видал?.. — показал ему кулак Петро. — Мы такую шваль видывали.

— Молчать! — крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.

Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу.

Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и запывавший глаз сверкнул, как кровавое пятно.

— Ой, караул! — закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к Пасику.

— Ну, дед, сиди, — сказал Петро, — а я те-

перь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают.

— Прощай, Петро, — обернулся дед, подавая развязать руки. — Мне теперь, видно, капут — дух вон и лапти кверху.

— Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере.

— Помнишь?

— Не забуду.

Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.

— Жалко, — ворчал Петро, — таких и людей немного остается.

Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал переворачивать онучи.

— Бабка-то теперича у кого твоя останется? — болезно гуторил сторож.

— Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело. Не помрет с голоду.

— Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет?

— Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты.

Говор смолк. Слышно было, как скреблась

за переборкой мышь. В запаутинившееся окно билась бабочка.

Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки.

Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол.

— «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина, — громко и отдельно произнес исправник. — В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».

— На вас креста нет, — зашумели мужики. — Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением. Гляди на нас, — обернулись все лицами к приставу, — узнавай, кого посылал вчера.

— Мошенники! — кричал пристав. — Мы вас на поселение сошлем!

— Куда хошь ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, а нам мать родная.

Деда иена привели на допрос под конвоем.

— Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?

— Да.

— В какую пору дня вы его убили?

— В полдень.

— Имеешь ли оправдания, при каких обстоятельствах совершилось убийство?

— Все имеем, — закричали мужики.

— Молчать! — застучал кулаком исправник.

— Вам известно, — сказал дед Иен, — болей я говорить не стану.

— Тридцать горячих ему! — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую, с кровоподтеками губу.

Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи.

Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровавая полоса.

— Кровопийцы! — кричали мужики, налекая на стражников и выламывая колья.

— Прошу не буяннить, — обратился исправник. — Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите.

— Братцы, — крикнул староста, — все равно ничего не поделаешь! Угомонитесь на ми-

нутку.

— Ишь какой братец заявился, — крикнул кто-то. — Сказали ему, а он и рад стараться.

Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожая и путаясь руками, он стал застегивать портки.

— Прощайте, братцы, — кричал он, снимая шапку, — больше не свидимся.

— Прощай, — как стон, протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.

Карев, прощаясь, сунул в руку деда пачку денег.

— Возьми обратно, — крикнул стражник. — Не полагается. Опосля суда...

Лимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.

— Поедем, — сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.

— Едем, — сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулки.

День заутренне гудел, и с бора несся неугомонный шум.

— Ну и изверги! — говорил Карев. — В гла-

зах хватают за горло, кровь сосать.

По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб.

— Н-но, родная, — потрагивал Карев вожжами. — Тут, чай, за спуском недалече. Ну, как ты думаешь? — спросил, обернувшись, заглядывая Лимпиаде в глаза. — Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься.

Лимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням.

— Какое бесцветное небо, — сказала она после долгого молчания. — Опять гроза будет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман.

В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы.

Жаль ему было мельницы старой.

Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге.

«Сходи, взгляни и, не показываясь, уходи обратно. Так надо, так надо».

После этого на другой день Лимпиада заметила на лбу его складку, которой никогда не видела.

— Милый, ты о чем-нибудь думаешь? — спросила она. — Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя, останься только здесь, послушай хоть раз меня, ты уйдешь, я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо.

— Любая моя белочка, — говорил, лаская ее, Карев. — Ты словно плотвичка из тесного озера синего, которая видит с мелью ручей на истоке и, боясь гибели, из того не хочет че-

рез него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя. Оденься ты странницей, возьми из своего закадычного друга яра посох и иди. Ты можешь ведь этот яр унести с собою. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь, — сердце ничего не теряет.

— Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно, — сказала Лимпиада. — Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я лесная русалка, полюбила тебя живого, тут и я несчастлива и ты.

— Эй вы, голуби! — крикнул Филипп. — Полно вам ворковать, помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил.

— Дешево же ты, воробей, платишь, — засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы.

Анна спеленала своего первенца свивальником, надела на бессильную головку расши-

тую калпушку и пошлак бабке на зорю.

Не спал мальчик, по ночам все плакал и таял, как свечка.

Вошла в низенькую, с короткими сенцами хату и, став около порога, помолилась богу.

— Здорово, бабушка.

— Поди здорово, касатка. Чего скажешь?

— Не спит он. Заговорить пришла, просто никак за ним не уходишь.

— Погоди, погоди, родимая, сейчас бросим камешки, жив ли он будет...

Боялась, что последняя радость покинет ее.

Бабка налила в полоник воды и бросила туда из жаровни засопевшие угли.

— С глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили.

Достала из сумочки, пришитой к крестовому гайтану, три камешка и, посупив их, кинула в воду.

— Помрет, — сказала. — Не жилец на белом свету.

Анна побледнела и ухватилась за сердце.

— Бабушка, обмани хоть меня, — рыдая, судорожно забилась. — Не отнимай надежду мою.

— Погоди, касатка, сейчас на зорю сходим, может, ему и полегчает.

Вышли на крыльцо. Багрянец пенился в сини и красил кровью облака.

Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать:

— Заря-зоряница, красная девица. Первая заря вечерошная, вторая полуношная, третья утрошная. Вынь, господи, бессонницу у Алексея-младенца. Спаси его, господи, от лихова часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, господи, его скорби изо всех жил, изо всех член.

«Умрет, умрет, — колола тоска Анну. — Опять одна... опять покинутая...»

— Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего не будет.

Прижала к груди, ножки его в кулачок и грела... в закрытые глаза засматривала.

— Милый, милый, малюсенький.

Шла, как ветер нес. Вдруг Епишка повстречался.

— Где была, куда бог носил? — подошел он, заглядывая на ребенка.

— На заговор ходила.

— Ути, мой месяц серебряный, как свернулся-то... Один носик остался. Ты не плачь, Аннушка, — обратился он к ней, — а то и я плакать буду, ведь он мне что сын родной.

— Ох, Епишка, сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве.

— Ты, голубушка, не убивайся так, может, господь пожалеет его. Ты себя-то береги, пока жив он.

— Карев ушел, — сказал Филипп. — Он тебе, Липа, не говорил, когда вернется?

— Он, вишь, пристал к варнакам охотиться, — ответила Лимпиада. — Верно, после выручки.

— Экий расслоняй, все время бегаёт по ветру.

Лимпиада сидела за столом и ткала холсты.

— Я хотел с тобой поговорить, Липа, — начал Филипп. — За Карева, я чую, ты не пойдешь замуж, а оставаться в девках тебе невозможно... Ваньчок вот все просит твоего согласия, а то хоть завтра играй свадьбу...

— Что ты привязался с своим Ваньчком, разве мне еще женихов нету?

— Вот чудная такая! Ведь я знаю, что тебе советую. Ваньчок возьмет тебя, ты опять при мне останешься. Случись что со мной, если ты не выйдешь, тебя погонят ведь отсюда. А с ним... У него деньги...

— На что мне они, его деньги? — бросила Лимпиада. — Ими горло ему надо засыпать.

— Ну, как хочешь, я тебя не насилую...

Филипп стал на лавочку и обмел на потолке копотные паутины. Веник осыпал березовые листья и разносил пряный пах. В окно стучал ветер.

С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу.

Летели листья, листья, листья и, шурша, о чем-то говорили.

— Пожар, — сказал Филипп, указывая на огненную осину. — Вот что делает холодная пора-то.

«Хорошо, — с сверкающими глазами подумала Лимпиада. — Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него...»

Ветер подсвистывал.

Карев ушел... Он выбрал темные ночи бабьего лета, подлинней расчесал свою бороду

и надел ушастую шапку.

Сердце его билось, когда он подходил к своему селу; под окнами сидели девки и играли с ребятами в жгуты.

Боялся, оглядывался и нерешительными шагами стал подходить к дому. Подкрался к вербе и стал всматриваться; горел огонь.

Из окна выглянула соседка.

— Епишка, — окрикнула она его, — поди почитай письмецо.

Пристыл, но, спохватившись, быстро замачал на конец села.

Было тихо, и лишь изредка лаяли собаки. С реки подымался туман и застилал землю.

Сел околь гумна и глядел на жевавшую траву лошадь.

— Дзинь-дзинь, — позвякивала она, прыгая, железным путом и, подняв голову, гривой махала.

— Коняш, коняш, — захрипел за плетнем старческий голос, и зашлепала оброть.

Как будто ожог почуял и бросился, зарывшись с головой, на солому.

Старик тпрукал лошадь и, кряхтя, отчаливал путо.

Стук копыт стал таять, и звенящая тишина изредка нарушалась петушиным криком.

Свежо, здорово, стелился туман.

Когда Анна вернулась, мальчику сделалось еще хуже. Она байкала его, качала, прижимала к груди, но он метался и опускал свислую головку.

Подстелив подушечку, положила на лавку и заботливо прислоняла к головке руку.

Что-то пугало ее, что-то грозило, и она вся трепетала при мысли, что останется одна.

Мальчик качнул головкой, дернул, вздрагивая ножками, и пустил пенистую слюну.

— Ах! — вскрикнула она и ухватилась за сердце.

Ноги ее сползли, и вся она грохнулась на пол.

Подбежал котенок и, покачивая бессильные пальцы, начал играть.

Через минуту она встала и уставилась в одну точку.

Понемногу она успокаивалась, но по крови ее желчью разливалась горечь и будила какую-то страшную решимость.

Она случайно повернулась к окну — и вся

похолодела. У окна, прилепившись к стеклу, на нее смотрело мертвое лицо Кости и, махнув туманом растаяло.

— Зовет, — крикнула она, — умереть зовет! — и выбежала наружу.

Рассвет кидал клочья мороки, луга курились в дыму, и волны плясали.

В камышах краснел мокрый сарафан, и на берегу затона, постряв на отцветшем татарнике, трепался на ветру платок.

Черная дорога, как две тесьмы, протянулась, резко выдолбив колеи, и вилась змеей на гору.

С горы, гремя бадьей и бочкой, спускался водовоз.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сказал старый Анисим игумену:

— Пусти меня домой, ради бога, ноет вот тут, — указывал он на грудь. — Так и чую, что случилось неладное...

— Иди, бог с тобой, — благословил его игумен. — Святые отцы и те врачивались заглядывать на своих родных.

Накинул Анисим подрясник, заломил свою смятую скуфью и поплелся, сторбившись, зелеными шелковыми.

Идет, костылем упирается, в небо глядит, о рае поет, а у самого сердце так и подсасывает — что-то дома творится?

Проезжие смотрят — всем кланяется и вслед глядит ласково-ласково.

На тройке барин какой-то едет, поравнялся, спрашивать стал:

— Разве ты меня знаешь — кланяешься-то?

— Нет, не знаю, и не тебе кланяюсь, — лику твоему ангельскому поклон отдаю.

Улыбнулся барин, теплая улыбка сердце согрела. Может быть, черствое оно было сердце, а тут растопилось от солнца, запахло доб-

ром, как цветами.

— Прощай, старичок, помолись за меня
угодникам да вот тебе трешница, вынимай
каждый день просфору за раба божьего Сер-
гея.

— Не весна, а весной пахнет. Свете тихий,
вечерний свет моей родины, прими наши
святыя славы, — шепчет он.

И опущенные белые усы ясно вырезают
разрез посинелых губ.

— Здорово, дедушка, — встретили его у
околицы ребятишки. — Анны-то нету дома...
утопилась намедни она, как парень ее помер;
заколочен дом-то ваш.

Вдруг почувствовал, ноги подкашиваются,
и опустился.

— Устал, дедушка, посиди, мы тебе табу-
ретку принесем.

— Спасибо, родные, спасибо, немного оста-
лось, хоть на корточках доползу.

Встал и, еще более сторбившись, поплелся
мимо окон; ребятишки растерянными глаза-
ми провожали.

Прохожие останавливались.

— Ой, Анисим, Анисим, не узнаешь тебя, —

встретила у ворот соседка. — Поди закуси малость, небось ведь замытарился, болезный.

Слезу утирает, на закат молится.

— Как тебя бог донес такую непуть? Ведь холод, чичер, а ты шел.

Ничего Анисим не ответил, застыл от печали глубокой.

С пьяной песней в избу вошел Епишка.

— «Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как...» Мое почтенье, челом бью, дедушка Анисим, прости, что пою песню, я ведь теперь все на панихидный лад перевожу...

— Присаживайся, — подставила хозяйка скамью, — гостем будешь, вместе горе поделим, мы все ведь какие-то бесталанные.

— Про то и пою, тетень, эх-а!.. «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» Не могу, ей-богу, не могу... слезы катятся, а умирать не хочется. Ведь могила-то когда хошь приют даст, жить бы надо, да что-то как жестянка ломается жизнь моя, и не моя одна. Ты, дедушка, меня в монахи возьми, можа, я там хоть пить перестану. Ведь там нет вина, стены да церковь.

— Убежишь, — засмеялась старуха. — Не лезь уж, куды не надо. Так и живи.

— не хочу я так-то жить, мочи моей не хватает, с тоски помру.

Епишка был пришляк на село, он пришел как-то сюда вставлять рамы и застрял здесь. Десять лет уж минуло.

Где-то в дальней губернии у него осталась жена, которая пустила его на заработки.

Каждый год Епишка собирался набрать денег и отослать жене на перестройку хаты, но деньги незаметно переходили к шинкарке Лексашке, и хата все откладывалась.

Каждое рождество он писал домой, что живет слава богу, что скоро пришлет денег и заживет, как пан.

Но опять выпадал какой-нибудь невеселый для него день, и опять домой писалось коротенькое письмо с одним и тем же содержанием.

Жена его знала эту слабость, она писала ему, чтоб он вернулся, что дом давно перестроен, но он никогда не читал дальше поклонов. Не хотел, а может быть, и наперед чуял, что пишут.

— Возьми меня, дедушка, ради бога возьми, там ведь жалованье платят, может, скоплю сколько-нибудь, домой пошлю.

Анисим молчал и грустно покачивал голову.

— Ты сегодня, Епишка, пьян, завтра ты по-другому скажешь. Ты лучше вот что я тебе посоветую, выпишывай сюда жену да живи на моей усадьбе. Дом-то мой ведь первый на селе. Я подпишу тебе все, ничего не оставлю. А коли помру, если хватит доброй совести, поставь мне крест на могилу.

— Родной ты мой, — упал Епишка на колени. — Спаситель, как мне тебя благодарить?

— Встань, Епишка, — сказал Анисим. — Пустое все это, ведь мне все равно ничего не надо. Ты закусывай лучше сейчас, ведь небось после Анны тебя никто не накормил.

— Нет, — всхлипнул Епишка, — разве я пойду просить... стыдно... Была Анна, так она все понимала... Царство ей небесное, хорошая баба была.

Хозяйка начала рассказывать, как вытащили Анну из воды.

— Отец ты мой родной, — приговаривала,

пришлепывая губами. — Как положили два гроба-то рядом, инда сердце кровью обливалось.

— Ты посмотри, — указал Епишка на разрубленный палец. — Гроб делал... Как вспомню, что делаю для Анны, топор из рук валится и рубанок не строгает... Отцапал ведь до самой кости.

Анисим решил подождать жену Епишкину. «Пропьет еще все, — думал он. — Баба-то лучше удержит».

Через неделю им пришел ответ, что жена Епишки три года тому назад померла, а оставшаяся вдовой дочь продала все пожитки и едет.

«Как же так? — думал Епишка. — Неужели я три года не писал?..»

Он как-то состарился, съезжился и жалел, что Анисим подписал ему свое имущество.

«Охо-хо! — думал он. — Уехал, девке-то десять годов было, уж вдова стала. Вот она какая жисть-то, самому сорок годов стукнуло, а я все думал тридцать».

«Как же она замуж вышла? — спрашивал себя. — И откуда набрали денег, когда присы-

лу не было?.. Впрочем, что же, баба была здоровая, за семерых работать могла...»

Через два дня Епишка встретил на телеге молодую бабу и с слезами бросился целовать ее.

Старый Анисим сам не одну смахнул слезу. Жалко ему было Епишку... Мыканец он.

«И в кого она у меня такая красивая, — думал Епишка, — ни на меня, ни на мать не похожа».

— Ты теперь брось пить-то, — говорил Анисим. — А ты, родная, поудерживай его, слаб он...

— Дедушка, ей-богу, одну рюмочку, с радости. Ведь я сейчас словно причастился, весь мир бы обнял, да головы у него нет.

Дочь Епишки улыбалась и, налив себе рюмку, почмокалась.

— Ты ведь у меня единая, ненаглядная моя. Мы теперь тебе такого жениха сыщем, какой тебе и во сне не снился.

Погорбился старый Анисим за эту неделю, щеки ввалились, а подбородок качался, будто шептал.

Простился с Епишкой и дочерью его и по-

шел опять с костылем, сгорбившись еще ниже.

— Ты как-нибудь, папаша, лошадь купи, — говорила Марфа отцу, — пахать станем.

— Теперь мы с тобой заживем, Марфунька, — говорил Епишка. — Земли у нас много, хлеба много, скота семь голов рогатого, лошадей только, жаль, увели. Недоглядки.

Плетется Анисим, на солнце поглядывает, до захода в монастырь надо попасть.

По дорожке воронье каркает, гуси в межах на отлет собираются.

Пришел в келью, к игумену, пыльный с дороги, постучался.

— Благослови, отче... Вернулся. Теперь не пойду.

— Ну что, не обмануло тебя сердце твое?

— Нет, отче, сноха утонула. Господь меня надоумил сходить... Господь.

— Ты отдохни поди, вишь, как выглядишь плохо. А что ж старуха твоя не вернулась?

— Нима, отче; видно к угодникам в подножие улеглась. Сильная духом была, знал я, что ей не вернуться.

В келью пришел свою, на столе просфора

зачерствевшая, невынутая.

Кусает зубами качающимися, молитву хлеба насущному читает.

И опять все как было: на стене скуфья на гвоздике, у окошка на подставочке цветы доморощенные не поливаны.

На мешочном тюфяке в дырки солома выбилась, в коричневых выструганных сучьях клопы гнездятся.

— Слава тебе, Христе боже наш, слава тебе.

Около рукомойника рушничок висит, покойная сноха вышивала.

— Всех похоронил, теперь самому на покой пора. Ой, как тяжело хоронить!

Захолодало. По селу потянулись с капустой обозы.

Хорошо молиться в осень темной ночи за чью-нибудь непутевую душу.

Обронили вербы четки зеленые, красной подернулись листья — удили шелковые.

Вечер. Голоса на дороге про темную ночь поют.

Прощай ты, пора нудная, томящая. Вылила ты из пота нашего колосья зернистые, кровью нашей напоила ягоды свои.

Марфа принялась за хозяйство. Сперва ей казалось все как-то по-чуждому. Ночью она не могла дверь найти спросонья, вместо порога к загнетке печной забиралась.

Стало подсасывать что-то опять Епишку, не сиделось ему дома, горько было на чужое добро смотреть. Чужое несчастье на счастье не пошло.

Ходил в лес, осин с кореньями натаскал, а потом у окошка стал рассаживать.

— Марфунька, — кричал он, запихивая в землю скрябку, — воды неси поливать.

Люди засматривали, головой покачивали.

— Что это с Епишкой-то случилось: дочь привез, вино бросил пить и в церковь ходит.

В монастырь бегал причащаться, всю дорогу без одышки бежал.

— Так ин, — говорит, — лучше бог простит все... да и думы грешные в голову не полезут.

Старый Анисим просфорочку ему дал, советовал лучше кобылку купить, чем мерина.

— Ты кобылку-то купишь — через три года две лошади, ой, ой, каких будешь иметь!

Послухался Епишка старого Анисима, пришел домой и сказал Марфе, что хочет кобылу

купить.

В базарный день повели продавать двух коров и выручили три сотни.

— Теперь ты, папаша, в город иди, там-то, чай, лучше купишь.

Снарядила Марфа отца в дорогу, зашила деньги в подштанники и проводила.

Приковылял Епишка в город, в трактирчик зашел отогреться. Люди винцо попивают, речи деловые гуторят. Подсела к Епишке девка какая-то, наянная такая, целоваться лезет.

— Жисть свою пропиваю! — кричит Епишка. — Хорошая ты моя, жалко мне тебя, пей больше, заливай свою тоску, не с добра, чай, гулять пошла.

Когда на другое утро Епишка полез в кошелек купить калачика, там валялась закрытая бумажкой единая заплесневелая старинная копейка.

Ждала Марфа отца и ждать отказалась, уж замуж успела выйти, мужа к себе приняла, а он как в воду канул.

Через два года, в такое же время, она получила письмо от него:

"Дорогая доченька, посылаю тебе свое ро-

дательское благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и навеки нерушимо.

Дорогая Марфенька, об деньгах прошу тебя не сумлеваться, скоро приеду домой. Кобыла тут у меня на примете есть хорошая, о двух сосунков. Как только вернусь, заживем опять с тобой на славу".

Карев запер хату и пошел в другой раз к сторожке. Лимпиада просила оставить на память вырезанную им солоницу.

Филипп окапывал завалинку и возил на тачке с подгорья загрубелую землю.

— Отослал Иенке денег ай нет? — спросил он, не оборачиваясь, поправляя солому.

— Отослал... сам возил, прощаться ездил.

— То-то долго-то.

— Да.

— Ну входи, — сказал Филипп. — Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.

Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.

Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками

блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.

— Принес? — спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.

На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.

Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.

Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.

— Ну, ты что ж молчишь? — обратился он к Ваньчку. — Рассказывай что-нибудь.

— Чего рассказывать-то? — протянул Ваньчок. — Все пересказано давно.

— Ну, — засмеялся Карев, — это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послушал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.

— Лучше Фильке пойду подсоблю, — сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.

Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.

— Идешь? — спросил глухо он. — Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.

Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:

— Иди, я не пойду.

— Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.

Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках:

— Не уходи, милый Костя, — ради всего святого, пожалей меня.

— Нет, я не могу оставаться, — сказал Карев и отдернул ее руку.

На пороге показался Филипп.

— Ты что ж, совсем уходишь?

— Да, совсем, проститься зайду. Не помните лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья...

Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.

Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.

«Куда же ушел?» — подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.

— Ох! — вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.

В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.

Прибежала и, запыхавшись, села у окна.

«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне... что делать?..»

Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.

«Вытравить, избавиться», — мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.

«Преступница», — шептал какой-то голос и колот, как шилом, в голову.

«Господи, — упала она перед иконой, — научи!»

На брус — для мора тараканов, в синей бумажке, — в глаза ей бросилась спорынья.

С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.

Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.

Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.

Чашка, разбившись, зазвенела осколками,

и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада за-
билась, как в судороге.

Волосы, сбившись тонкими прядями, рас-
сыпались по полу и окропились бившей кло-
чьями с губ пеной. Под окном ворковали голу-
би, и затихший бор шептался о чем-то злове-
щем.

Лицо ее было как мел, и на нем отража-
лась лесная зеленая дремь.

Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил
чухлинского старосту и пошел оглядывать на-
меднишнюю вырубку.

Щепа пахла ладаном, на голых корнях в
вырубях сверкала вода.

— Тут надо бы примерить, — сказал старо-
ста. — Сбегай-ка до дому за рулеткой.

Филипп сломил ветку калинника и побег к
сторожке.

Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хо-
тел схватить его за ногу.

В голову ударило мертвечиной, на полу в
луже крови валялась Лимпиада — и около
нее разбитая чашка.

— Отравилась!.. — крикнул, как журавль
перед смертью, и побежал к колодцу за холод-

ной водой.

Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.

Холодел.

Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.

— Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудрявую косу, не высказывала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы свою девичью честь.

Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.

— Ох ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.

Ваньчок трепал за ухо своего подпaska.

— Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, харя твоя поганая, до смерти захлыщу.

— Я, дя-аденька, ни при чем, — плакал Юшка. — Вот те Христос, не виноват...

— Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь сопляк какой подхалимный!

Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.

Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.

Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веровочку»:

Эх, да как на этой на веревочке

Жизнь покончит молодец...

С концом песни ввалился в избу и остолбенел.

— Это он! — крикнул с брызгами пены у рта. — Это он... Он яр поджег, дымом задвашил...

Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.

Голова кружилась безумием и хмелем.

Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.

Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.

Хвои шумели.

Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.

Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.

В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.

На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.

Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.

«Филипп, — подумал Карев, — на охоту, видно, напоследок зовет...»

Грянул выстрел, и, почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.

Упал... по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.

Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.

— Ку-гу, ку-гу... — шомонила за мельницей сова.

1915 г.

СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ РЯЗАНСКИХ НАРЕЧИЙ

Составлен А.А. Есениной. Приводится с некоторыми сокращениями.

Артус — просфора, освященная в первый день пасхи.

Бочаг — яма на дне реки, омут.

Брус — крайний ряд кирпичей у чела печи.

Брусница — деревянный футляр для точильного бруса. Во время работы привязывается ремнем за спину косца.

Бурыга — ухаба, рытвина.

Бучень — птица выпь.

Воронок — медовая брага с хмелем.

Выбень — выбитое место.

Вяхирь — сетчатый кошель для сена.

Гребать — брезговать.

Грядки — две продольные жерди, образующие края кузова провозки.

Донце — дощечка со специальной рамкой, на которую садится пряха, вставляя в нее гребень или кудель.

Жарница — глиняная миска для запеканов.

Забурукал — глухо, невнятно заворчал, забормотал.

Задвашить — задушить.

«Заря-зоряница...» — заговор от бессонницы. Есенин слышал его от матери.

Засемать — засуетиться, зачастить ногами.

Засычка (норовить в засычку) — задирать-ся, ввязываться в драку, скандал.

Захряслый — затверделый.

Зубок — подарок новорожденному.

Калпушка — детский чепчик.

Кочетыг — тупое, широкое, плоское шило для плетения лаптей и кошелей.

Кулага — заварное жидкое тесто из ржаной муки с солодом.

Лоск — лог, лощина или низкое место в поле.

Лушник — ситный хлеб, испеченный с луком, пережаренным в масле.

Мотальник — приспособление в прялке для сматывания пряжи.

Мускорно — трудно, кропотливо.

Мухортая — захудалая.

Наянно — навязчиво.

Нехолявый — неопрятный, неряшливый.

Ободнять — рассветать.

Оборки (оборы) — веревочные завязки у лаптей.

Оброть — недоуздок, конская узда без удила, с одним поводом для привязи.

Окадычиться — умереть.

Олахарь — обалдуй, непутевый.

Падина — настил из хвороста под стога сена.

Попки — связанные пучки ржаной соломы, кладущиеся на верх соломенной крыши.

Постная — круглая корзиночка, плетенная из соломы, перевитой мелким лозняком. В ней держат муку и в нее же кладут, как в форму, хлебное тесто для подхода.

Поязать — обещать.

Путро — месиво с мучными высеvkами для скота.

Пьяника — лесная ягодка (голубика).

Пятерик — бревно, из которого можно напилить пять поленьев.

Разепа — разиня.

Саламата — кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом.

Сиверга (сиверка) — холодная мокрая погода при северном ветре.

Суровика — лесная ягода.

Тудылича — в том месте, в той стороне; или — не теперь, не сейчас.

Тужильная косынка — белая косынка, которой женщины покрывают головы в особо горестные дни — дни похорон и поминания близких людей.

Ушук — мгла.

Хрестец (крестец) — убранный хлеб подсчитывается копнами и крестцами. В копне пятьдесят два снопа, в крестце — тринадцать. В полях хлеб укладывается по двенадцать снопов крест-накрест и накрывается сверху тринадцатым. Отсюда и название — крестец.

Хруп — жесткий, крупный помол муки.

Хрындучить — ерепениться, куражиться.

Цибицы — чибисы.

Чапыга (чапыжник) — частый кустарник,

непроходимая чаща.

Чимерика (чемерица) — луговая трава с толстым стеблем и с широкими листьями.

Чичер — резкий холодный ветер.

Шалыган — шалун, бездельник.

Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.

Шушпан — летняя женская одежда.

Щипульник — шиповник.